

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

А.М. Руткевич

**ПСИХОАНАЛИЗ И ДОКТРИНА
“ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ”**

Препринт WP6/2004/06

Серия WP6

Гуманитарные исследования ИГИТИ

Москва
ГУ ВШЭ
2004

Р 90 Руткевич А.М. Психоанализ и доктрина “исторической памяти”. Препринт
WP6/2004/06.— М.: ГУ ВШЭ, 2004. — 36 с.

Практически в любой работе об “исторической памяти” мы находим ссылки на произведения З. Фрейда — этим обосновывается в том числе междисциплинарный характер этих сочинений. Действительно, в ранний период своей деятельности Фрейд часто употреблял понятие “травма”, писал о сохранении травматического опыта в коллективной памяти. Развитие психоанализа привело к отказу от этих идей, поскольку они предполагают ламаркистское учение о наследуемости приобретенных признаков, давно отвергнутое биологами. Историки берут из психоанализа то, что давно устарело, не сопоставляя эти спорные гипотезы с тем, что пишут психологи других школ.

Действительным источником доктрины “исторической памяти” является учение об “эмансипативном познавательном интересе”, выдвинутое Ю. Хабермасом и К.-О. Апелем в конце 1960-х гг. Это учение имело и имеет не столько научное, сколько идеологическое содержание (революционные устремления левых интеллектуалов, желающих “исцелить” человечество).

УДК 159.964.2
ББК 88

Rutkevich A.M. Psychoanalysis and the doctrine of "historical memory". Working paper
WP6/2004/06. — Moscow: State University — Higher School of Economics, 2004. —
36 p. (in Russian).

In books and articles, written on “historical memory” we find the citations of Freud and his followers; they even constitute the basis of “interdisciplinary character” of these writings. Well, in the first period of his work Freud had used such term as “trauma” and had written on the imprints of traumatic experience in the collective memory. But with the development of psychoanalysis such ideas were denied as Lamarckist (and not very popular among biologists). Historians of today are taking from the psychoanalysis old-style speculative biology without any concern of another schools of contemporary psychology.

The real source of “historical memory” is the theory of “emancipative knowledge interest”, created by J. Habermas and K.-O. Apel the end of 1960-s. This theory has much more ideological than scientific character (the revolutionary hopes of left intellectuals, desired to “heal” the humanity).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта “Репрезентация прошлого как социоинтегративный фактор” (грант № 03-01-00016а).

Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте:
<http://www.hse.ru/science/preprint/>

© Руткевич А.М., 2004
© Оформление. ГУ ВШЭ, 2004

Врач и историк очевидным образом заняты совершенно различными родами деятельности: один лечит своих современников, другой обращается к тем, кто уже покинул сей мир. Медик стремится облегчить слишком реальные страдания, он ставит диагноз, предлагает средства лечения, тогда как историк изучает документы, сидит в архивах, пишет тексты по поводу прочитанного — непосредственного опыта общения с людьми прошлого у него нет, он имеет дело лишь с косвенными свидетельствами физического существования людей иных эпох. Но если в сфере практической деятельности точек пересечения не обнаруживается, то в области научных изысканий таких точек немало: врачебная практика и медицинская теория имеют довольно долгую историю, люди прошлого болели и лечились, эпидемии — вроде чумы XIV в. — меняли ход истории и т.д.

Медика и историка роднит не только то, что предметом интереса для обоих являются люди. Некое сходство можно найти даже в стиле мышления: оба являются эмпириками, которые не склонны доверять дедукции и общим теориям вообще. Разумеется, и медик, и историк не могут обойтись без предпосылок, к каковым относятся данные естествознания, научная картина мира в целом. То или иное представление о человеческой природе они разделяют со своими современниками (не обязательно членами научного сообщества). Однако обе науки возникли не из «чистого созерцания» — если математика, физика, биология, психология появились в пределах философии, то Гиппократ и Геродот создавали медицину и историю практически не ссылаясь на «любомудрие», но опираясь на опытные данные. Хороший врач и ныне может пренебречь всеми советами монографий и учебников и следовать собственной интуиции, а историк слишком часто обнаруживает несводимость индивидов, верований, поселений и культур к утверждениям экономической или социологической доктрины. Такой эмпиризм обусловлен прежде всего многообразием опыта, поскольку сам предмет наблюдений, человек, редко вмещается в удобные математические формулы. Область измеряемого, квантифицируемого, а потому излагаемого на формализованном языке, в обоих случаях сравнительно невелика.

Сходными оказываются и некоторые онтологические предпосылки. Вслед за Аристотелем и его античными последователями, Вильгельм фон Гумбольдт относил «причины истории» к трем категориям: природе вещей, человеческой свободе и случаю. «Причины болезни» оказываются точно такими же, хотя о «природе вещей» медики говорят чаще, чем о свободе. Если сравнить различные спекулятивные построения античности, то ни мир идей Платона, ни атомизм Демокрита не годятся (по крайней мере, непосредственно) для описания того мира, с которым имеют дело историк и врач. Можно согласиться с Полем Вейном, который писал: «история расположена в том мире, лучшим описанием которого по-прежнему является аристотелизм: это — конкретный реальный мир, населенный вещами, животными и людьми, где люди чего-то хотят и что-то делают, но делают далеко не все, чего хотят...»¹. Историк и врач применяют законы (суждения с квантором всеобщности) к конкретному случаю, общее и индивидуальное встречаются в особенном, которое не сводится к общему без остатка. Разумеется, речь идет не о неповторимой индивидуальности явлений — если бы реальность состояла из такого рода монад, то невозможно было бы не только научное исследование, но и повествование.

Слово «психоанализ» зачастую употребляется сегодня для обозначения самых различных практик психотерапии и соответствующих им теорий. В современной России им пользуются люди, которые на Западе немедленно столкнулись бы с судебными исками, поскольку медицинская корпорация там достаточно влиятельна и сильна, а потому воспрещает лечить шарлатанам и всякого сорта «целителям». В области врачебной практики психоанализ не равнозначен психотерапии вообще, поскольку в последней сегодня ведут спор и конкурируют десятки учений: поведенческая терапия, гештальт-терапия или НЛП опираются на иные, чем психоанализ, теории (скажем, бихевиоризм есть основа поведенческой терапии). Несмотря на появление такого рода конкурентов, психоаналитики остаются своего рода элитой среди психотерапевтов (и врачей вообще), но высокие гонорары предполагают длительную и дорогостоящую подготовку: после окончания медицинского факультета (7 лет) нужно 4—5 лет учиться в психоаналитическом институте; необходимо пройти курс дидактического психоанализа (Lehranalyse). Психоанализ передается от учителя к ученику, чтобы успешно лечить, врач должен «исцелиться» сам, обнаружить у себя все те «комплексы», которые он в дальнейшем будет находить у паци-

¹ Veyn P. Comment on écrit l'histoire. Paris: Seuil, 1978. P. 147.

ентов. В отличие от многих других направлений в психотерапии, психоанализ претендует не только на то, что он эффективно избавляет от страданий, но и на то, что он открывает индивиду тайны его души. Поэтому психоанализ нередко называли «глубинной психологией».

Отделив психотерапевтов других конфессий и самозванцев, мы ограничились объемом понятия «психоаналитик», но понятие «психоанализ» относится не столько к лицам, сколько к идеям. Даже в области психотерапии имеется значительное число людей, которые не получали подготовки в соответствующих институтах, но используют методы психоанализа («психоаналитически ориентированные» психотерапевты и консультанты). Следует иметь в виду и то, что наряду с фрейдистской Международной психоаналитической ассоциацией (IPA) существуют ассоциации сторонников К. Юнга, К. Хорни, Ж. Лакана и других «схизматиков», идеи которых также могут относиться к «психоанализу» — при всех доктринальных отличиях, они сходным образом лечат пациентов и получают примерно такую же подготовку в своих институтах. Однако в узком смысле слова «психоанализ» распространяется только на тех, кто принимает теории З. Фрейда и опирается на его идеи.

Психоанализ представляет собой не только разновидность медицинской практики (свободные ассоциации, толкование сновидений, перенос, знаменитая кушетка и т.д.), но также разработанную теорию, которая направляет практику. Наряду с теоретическими обобщениями медицинского опыта эта теория включает в себя общую психопатологию и общую психологию, тогда как вершиной теории является «метапсихология», т.е. ряд идей, дающих общую картину человеческой природы, разновидность философской антропологии. Применение этих идей за пределами медицины (так называемый «прикладной психоанализ») предполагает принятие метапсихологии в качестве такого рода антропологии. Особенностью психоанализа в сравнении с другими направлениями психологии является интерес к прошлому индивида: сегодняшние невротические симптомы вызваны давним и вытесненным в бессознательное опытом. Интерес историков к психоанализу определяется уже тем, что он также обращен к прошлому и не случайно получил название «генетической психологии»: чтобы исцелить пациента, необходимо найти истоки невротических симптомов.

Конечно, даже далекий от психоанализа ученый может признавать эвристическую ценность тех или иных гипотез Фрейда, не принимая его учение в целом. Но в таком случае он должен четко представлять себе, что употребляя понятие «бессознательное», он делает это в том или ином значении — это понятие появилось задолго до психоанализа и нередко сме-

шивается с «подсознательным», «инстинктивным», «интуитивным» и т.п. Тому, кто ссылается на Фрейда в связи с теорией памяти, следует иметь в виду, что тогда он должен принять не только идею «вытеснения», но и еще ряд тезисов, например, то, что мы помним все с нами происходившее с раннего детства (а причиной забвения является почти исключительно вытеснение), что наша память хранит наследие далеких предков, начиная с убийства вожака первобытной орды и тому подобные не слишком популярные в научном сообществе гипотезы. К тому же теория вытеснения в психоанализе тесно связана с концепцией детской сексуальности, теорией символизма и т.п. теоретическими построениями. Историки чаще всего знакомы с психоанализом понаслышке, удовлетворяются тем, что написано в популярной брошюре или в учебнике. Уже поэтому необходимо отдавать себе отчет в том, какую именно трактовку психоанализа дают те историки, которые ссылаются на Фрейда, говоря о «памяти», «вытеснении», «возвращении вытесненного» и т.п.

В психоанализе мы имеем дело с историей не только в том смысле, в каком любой врач говорит об «истории болезни». В последней врачи фиксируют нечто доступное наблюдению, включая такие данные, как графики ЭКГ, температуру, анализ крови и тому подобные факты. Различия сразу становятся понятными, если учесть, что психоаналитик вообще знает о пациенте лишь то, что говорит сам анализируемый. Конечно, психоаналитики получают медицинскую подготовку и включают в свои «истории болезни» и некоторые объективные данные (псевдопаралич, вызванный истерическим неврозом), но большую часть их наблюдений никак нельзя отнести по ведомству соматической медицины. Да и «болезнь», о которой они говорят, отлична от любого соматического заболевания. Пациент приходит с жалобами на трудности во взаимоотношениях с другими людьми, иррациональные конфликты, навязчивые мысли и т. п. Даже если речь идет о тяжелых неврозах, граничащих с психозами, сопровождающихся галлюцинациями, бредом, психопатической агрессивностью, психоаналитик знает об этом со слов пациента. Он не имеет ни права, ни возможности следить за поступками анализируемого за пределами своего кабинета. Небольшое число психоаналитиков работает в психиатрических клиниках, где ситуация несколько иная, но и там они лишены тех «объективных данных», которыми располагают терапевт или хирург. В случае невроза проблематично уже само слово «психическая болезнь»: «больным» себя должен назвать и считать сам пациент, тогда как в случае ангины или холеры, порока сердца или закупорки вен имеются объективные критерии.

История болезни значима не только в области психотерапии. После недолгого господства физикализма в медицине конца XIX в., многие врачи пришли к той мысли, что лечат они не «болезнь», а «больного», что все симптомы нужно соотносить с целостностью его организма, а тем самым учитывать и его прошлое. Хотя дальнейшая специализация ведет к тому, что медики часто лишь декларируют подобный холизм, в теории он остается краеугольным камнем современной медицины. Психоанализ возник в то время, когда в Германии и в Австро-Венгрии активно работали ученые, развивавшие «биографический подход» в медицине (Л. Крель, О. Шварц, В. фон Вайцзеккер и др.). Так называемая «психосоматическая медицина» родилась не из одного психоанализа, а в области психопатологии о движении мысли в этом направлении свидетельствует хотя бы знаменитый труд К. Ясперса (первое издание 1913 г.)². В самом психоанализе происходил постепенный поворот от механицизма и физикализма первоначальных схем Фрейда к биографическому подходу, ныне в нем безусловно доминирующему.

Получив серьезную научную подготовку как физиолог, Фрейд еще до создания психоанализа выпустил несколько монографий по анатомии и физиологии головного мозга. Он мыслил как типичный естествоиспытатель того времени, сам себя характеризовал как «механициста», который неизбежно является сторонником жесткого детерминизма. Применительно к психическим заболеваниям этот подход означал поиск причин, к которым Фрейд отнес поначалу травматическое воздействие на психику в период раннего детства. В дальнейшем он отказался от перенятого у Шарко и Жане учения о травматической природе неврозов. Внешнее травмирующее воздействие может быть «спусковым крючком» для невроза, но его причины находятся в далеком прошлом, в раннем детстве индивида (стадии развития либидо, Эдипов комплекс). Чтобы понять нынешние трудности и симптомы, нужно обратиться к отношениям младенца с родителями. Фрейд оставался жестким детерминистом: прошлое причинно обуславливает настоящее и будущее. Только интересует психоаналитика не внешняя канва жизни индивида, но происходящее в глубинах бессоз-

² Об этом практически никогда не пишут историки психоанализа, подчеркивающие роль Фрейда в становлении психотерапии. Но достаточно посмотреть на курс лекций У. Джемса 1900 г., изданный под названием «Многообразие религиозного опыта», чтобы понять, насколько развивавшиеся Фрейдом идеи были характерны для всей той эпохи. О биографическом подходе в медицине не раз писал один из лучших историков медицины, П. Лайн Энтральго. См., например, P. Lain Entralgo. Enfermedad y biografía // P. Lain Entralgo. La empresa de ser hombre. Madrid: Taurus, 1963.

нательного. Никакая интроспекция не откроет человеку те силы, которые направляют его жизнь. Сознание («Я») зависит от могущественных «судеб влечений», от бессознательного («Оно»).

В психоанализе целью является исцеление пациента, а не написание связной истории — «истории болезни» пишутся в научных и педагогических целях, в них повествуется о ходе лечения, об изменениях по ходу терапии. Эта история интересна для сообщества психотерапевтов как типичная или, наоборот, как способствующая пересмотру тех или иных теоретических постулатов. Практика лечения лежит в основании теории, истории болезни представляют собой своего рода «протоколы», «базисные суждения» для построения теорий. Психоаналитики оправданно отвергают упреки позитивистски настроенных психологов: в психоанализе возможна и верификация теорий, и их фальсификация — многие положения Фрейда были пересмотрены психоаналитиками последующих поколений (а некоторые его идеи вообще не были приняты учениками — учение об особом агрессивном влечении не получило широкого распространения, несмотря на весь авторитет Фрейда). Правда, интерес субъективности опыта в психоанализе недостижима: пациенты не лечатся одновременно у нескольких аналитиков, да и «опыт» в психоанализе отличается от опыта естественных наук. Это — опыт коммуникации врача и пациента, причем врач имеет дело почти исключительно со свободными ассоциациями, рассказом пациента о своих сновидениях, мечтах и т.п.

Прошлое пациента знакомо аналитику только со слов самого пациента (то, что он может узнать от родственников или коллег последнего, для него не так уж существенно). Он соприкасается с несколькими «прошлыми» анализируемого³. Помимо доступных сознанию пациента воспоминаний о своей жизни (прошлое, которое предшествует неврозу) и недавнего прошлого (скажем, предшествующих сеансов анализа), он обращается к тому прошлому, которое скрыто от анализируемого — к вытесненным в бессознательное воспоминаниям раннего детства. Именно они играют решающую роль в процессе лечения. Но помимо всего этого Фрейд постулировал передаваемую по наследству «память рода». Хотя он не создал в связи с ней целую систему «архетипов коллективного бессознательного», как это сделал Юнг, Эдипов комплекс у Фрейда соотносится с тем, что проис-

³ Я отвлекаюсь здесь от важного вопроса о прошлом самого психоаналитика, которое включает не только его теоретическую подготовку, практический опыт лечения предыдущих пациентов, но также и его собственный опыт раннего детства или даже архаические слои сознания.

ходило в древней орде — убийство вожака племени, описанное в «Тотеме и табу». Весь прикладной психоанализ Фрейда строится на аналогиях между невротическими симптомами, опытом раннего детства и филогенезом («детством человечества», которое повторяется в жизни каждого индивида). Иногда это наследие выступает для Фрейда как руководящий принцип для объяснения давних исторических событий. Древние евреи никогда не пришли бы к столь строгому монотеизму, если бы предполагаемое Фрейдом убийство Моисея не вернуло их к ситуации раскаяния сыновей первобытного вождя орды. Иначе говоря, сегодняшние переживания индивида могут восходить не только к его собственному раннему детству, но также к событиям на заре человеческой истории.

Я не стану перечислять все фантастические гипотезы Фрейда в области прикладного психоанализа. Написанное Фрейдом по проблемам искусства и литературы сегодня способны всерьез принимать только те, кто выдает каждое его слово за истину — таковых становится все меньше даже среди психоаналитиков. Однако следует иметь в виду то обстоятельство, что суждения психоаналитиков о культуре и обществе и ныне отсылают к «памяти рода», поскольку иначе так называемый прикладной психоанализ лишается основания. Психоаналитик открывает за явным смыслом вытесненный из сознания, принадлежащий «архаичному наследию», которое «охватывает не только предрасположенности, но также и содержания, следы памяти о переживаниях прежних поколений»⁴. Это наследие соответствует инстинктам животных как коллективная память, сохранившая древние пра-символы некоего палео-языка, предшествующего словесной коммуникации. Онтогенез повторяет филогенез, причем Фрейд признавал, что психоанализ в своих «прикладных» исследованиях не может обойтись без учения о биологическом наследовании благоприобретенных признаков — иначе рушатся все аналогии между индивидуальным развитием и эволюцией человеческого общества.

Психоаналитик занят расшифровкой не просто сложного «текста», где имеются пропуски и искажения; эти пропуски имеют собственную логику, связаны с «работой» той инстанции, которая систематически искажает «текст» мыслей и переживаний человека, в чем сам он не отдает себе отчета, не замечает искажений. Более того, явный смысл часто является результатом рационализаций, т.е. идеализированных мотивов, скрывающих подлинную мотивацию. Желаемое принимается за действительное (wish-

⁴ Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: «Ренессанс», 1992. С. 223.

ful thinking), но иллюзии имеют значение как замещения подлинных устремлений. Само наше «Я» возникло в результате истории конфликтов и расколов, вытеснения одних элементов и замещения их другими. Кажущиеся несомненными ценности являются таковыми лишь потому, что они были впитаны в раннем детстве, т.е. не в результате рационального мышления или выбора, но в силу идентификации с одним из родителей (либо появились как замещение вытесненных влечений).

Именно эти идеи Фрейда представляют собой сущность психоаналитического подхода, а потому можно отказаться от фрейдовского пансексуализма и натурализма, даже от специфической для Фрейда трактовки влечений (по схеме возбуждение — удовлетворение) — главное, что сохраняется, это динамическая картина взаимодействия различных инстанций психики, вытеснение одних содержаний другими и символизация одних другими. Симптомы или сновидения входят в целостность биографии пациента. То, что внешне кажется лишенным смысла, на самом деле им надделено, только это смещенный и деформированный смысл. Сознание, вопреки всей философии *ego cogito*, недостоверно, оно не может служить основанием себе самому и всему другому. Психоанализ является «археологией субъекта», и метод истолкования, наиболее характерный для Фрейда, — это генетическое истолкование, роднящее психоанализ не с естествознанием, а с герменевтикой. Чтобы истолковать «текст» конкретного симптома, аналитик переходит ко все более общим контекстам, которые также оказываются «текстами»: Эдипов комплекс у нашего современника отсылает к первобытной орде, к «архаичному наследию» коллективной памяти. Метафорическое теоретизирование по поводу культуры дает расшифровку конкретному случаю, который в свою очередь делается небольшим отрывком универсальной книги человеческого бытия.

По следам, оставленным каким-то психическим процессом, нужно определить сам этот процесс, подобно тому, как археолог восстанавливает образ древней колонны по одной оставшейся ее части, либо подобно детективу, находящему преступника по оставленным им следам и приметам. З. Бернфельд, кажется, первым определил психоанализ как «науку о следах», «следопытство» (*Spurenwissenschaft*). «Преступление» здесь совершенно тем процессом, который вызвал нарушения. Конечно, предпосылкой генетического толкования является некая общая модель психики, в которой утверждается, во-первых, что психические процессы оставляют следы, а во-вторых, между этими следами и процессами должна существовать такая содержательная связь, что следы символизируют процессы, замеща-

ют их. Наконец, требуется знание механизма преобразования прошлого явления в символ. Конечно, след мог остаться и от совсем другого процесса, нам неизвестного (либо вообще не осталось никакого следа). Как это нередко случалось с Фрейдом, он облегчил себе и своим последователям жизнь, приняв в качестве постулата⁵, что все события психической жизни сохраняются в памяти; более того, они передаются по наследству. Это допущение сделало возможным сомнительные аналогии между явлениями индивидуальной жизни и социальными феноменами. Однако, реконструкция прошлого по оставленным следам совсем не обязательно требует столь широких обобщений. Достаточным условием генетического толкования является тезис, согласно которому отдельные психические процессы поддаются реконструкции по их замещениям.

Таким методом реконструкции пользуются многие гуманитарные науки. «Науки о духе» постигают конкретное явление на базе общих знаний, имеющегося опыта, но здесь интерес представляет само индивидуальное, не сводимое к общему закону. Генетическое толкование, «реконструкция» каждого явления в контексте истории жизни сближает психоанализ с герменевтикой. К. Гинзбург назвал такой подход «уликовой парадигмой», которая характерна и для исторического познания — историк также идет по следам и ищет приметы. Того же мнения держится и К. Гирц: науки о культуре сравнимы с психоанализом и потому, что они не дают предсказаний в строгом смысле слова, но «ставят диагноз»; они не утверждают, что «болезнь» появится неизбежно, но если она уже присутствует, то они могут предсказать ее течение⁶.

Психоаналитика интересует далеко не все в прошлом пациента, но то, что вызвало невротические симптомы, причем не сами события, но их образы в сознании пациента, его фантазии, те смыслы, которые он придает прошлому сегодня. События вообще могут оказаться вымышленными, но этот вымысел приковывает внимание пациента, вызывает сильнейшие эмоции, навязчивые представления. Иной раз Фрейд достаточно наивно предполагал, будто по ходу анализа пациенты вспоминают «как это действительно было» в раннем детстве, вплоть до первых месяцев жизни

⁵ С известными оговорками: «нам следует держаться того, что сохранение прошлого в душевной жизни есть, скорее, правило, нежели исключение». Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс, 1992. С. 73.

⁶ Geertz C. Dichte Beschreibung. Beitrage zum verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994. S. 37.

(некоторые его ученики стали писать о «травме рождения», предполагая, что и о нем сохранилась память, равно как и об утробном периоде). Будучи ламаркистом, Фрейд считал несомненной передачу благоприобретенных признаков, а тем самым и родовую память о важнейших событиях в памяти человеческого рода, народов и племен. Это позволяло ему сравнивать детское мышление с мышлением первобытных племен, сопоставлять стадии развития либидо у индивида с этапами развития человечества. Онтогенез повторяет филогенез, а потому появление Эдипова комплекса увязывалось с драматическими событиями в первобытной орде.

В некоторых версиях психоанализа (в сочинениях О. Ранка, у К.-Г. Юнга и его последователей) этому прошлому уделяется значительное внимание. Хотя в современном психоанализе это родовое наследие чаще всего не принимается во внимание при лечении пациента, в так называемом прикладном психоанализе (т.е. в трудах психоаналитиков по поводу религии, искусства, литературы) по-прежнему нередко встречаются ссылки на отцеубийство, с которого началась человеческая история («черный роман», как назвал такую историю М. Элиаде). Но если брать практику лечения, то все чаще происходит отказ от фрейдовского поиска причин невроза в давнем прошлом или даже в реальных событиях детского возраста. Многие психотерапевты психоаналитической ориентации фактически вообще отказались от поиска причин неврозов. Произошло смещение от установления «почему» тот или иной аффект возникает у пациента, к тому «что» и «как» он переживает. Лечебное действие вызывает не установление причин: «интерпретация отныне — это встреча пациента со своим опытом»⁷. Исторические реконструкции раннего детства уступают место анализу актуальных переживаний. Пациент сам придет к тому или иному «почему» после того, как сумеет овладеть «что» — содержанием своих переживаний и конфликтов.

Психоанализ оказал огромное воздействие на многие науки о человеке, на всю интеллектуальную атмосферу XX столетия. Возникнув в области медицинской практики, психоанализ оказал заметное влияние на социологию, этнографию, литературоведение и ряд других дисциплин, а через них и на исторические науки. Однако следует различать историографию как таковую и творчество тех историков, которые приняли психоанализ как род философской антропологии, как набор аксиом для эмпирических исследований. Если средний западный историк просто принимает к сведению то, что у человека могут быть неосознаваемые мотивы поведения, в

⁷ Singer E. Key Concepts in Psychotherapy. N.Y.: Random, 1965. P. 203.

какой-то степени связанные с его детством, то тем самым он еще не становится сторонником Фрейда, подобно тому, как признание фонетических оппозиций еще не делает лингвиста представителем структурализма, а учет классовой борьбы не делает марксистом. Если же он видит в историческом исследовании разновидность прикладного психоанализа (так же как тот, кто сводит множество самых разнообразных взаимодействий к классовой борьбе, считает исторический материализм универсальной отмычкой), то его нужно характеризовать не просто как историка, но как представителя «психоистории», не просто как биографа, но как психоаналитика, пишущего биографию.

Разумеется, получившие психоаналитическую подготовку историки редки, причем среди них встречаются как настоящие профессионалы, так и догматики, шарлатаны, идеологи. Прошедший психоаналитическую подготовку П. Гэй, написавший в том числе и прекрасную биографию З. Фрейда, остается профессиональным историком, а не догматиком: в работе о Веймарской республике он вообще не прибегает к методам психоанализа, поскольку этого не требует предмет исследования. И наоборот, целый ряд биографий, исследований национального характера и т.п. литературы имеют отдаленное отношение к истории, поскольку догматическая зашоренность авторов иной раз просто поражает. В психоаналитических биографиях сохраняются все недостатки истории, понятой через жизнь «великих личностей», с добавлением разве что «игры на понижение». Это хорошо видно уже по биографии американского президента Вильсона, написанной Фрейдом совместно с Буллитом — о ней стараются не вспоминать даже самые ортодоксальные последователи Фрейда, поскольку личная неприязнь Фрейда и его соавтора к персонажу непосредственно сказалась на этом жизнеописании: президенту США следовало бы сначала основательно подлечиться, а уж потом лезть со своими прожектами в решение европейских дел. Наклеивание психиатрических ярлыков ощутимо во множестве других «психобиографий». Как оценить историка эссе Э. Фромма о Гитлере (в «Анатомии человеческой деструктивности»), если он игнорирует подавляющее большинство свидетельств, а из используемых им (скажем, из воспоминаний А. Шпеера) заимствует лишь то, что отвечает его характерологии? Мне доводилось читать статьи и книги, в которых к вытесненным переживаниям детства сводились то философские воззрения Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера, то произведения литературы и искусства, то творчество самого Фрейда (вплоть до сведения его теории к обрезанию или к мастурбации в юношестве). Когда все политические и право-

вые идеи К. Шмитта сводятся к вытесненной женственности и гомосексуальности (как это подается в разрекламированной немецкими СМИ книге Н. Зомбарта), то возникает вопрос о неосознаваемых (и даже невротических) предпосылках самих такого сорта сочинений.

В подобных биографиях сохранялись допущения Фрейда, согласно которым психика младенца и психика взрослого тождественны; созданный психологами для описания взрослого опыта язык применим к психике младенца, и наоборот, психика младенца, которая описывается в терминах не только влечений («оральная» или «анальная» стадия развития либидо и т.п.), но и психологии «Я», продолжает существовать в психике взрослого, сохранившего память (пусть бессознательную) об опыте раннего детства. Это ведет к бесконечным аналогиям между невротическими симптомами взрослого, его переживаниями на кушетке у аналитика, и переживаниями младенца по поводу материнской груди. В области прикладного психоанализа это не раз приводило к самым курьезным спекуляциям, вроде того, что русский национальный характер определяется тугим пеленанием в младенческом возрасте — термин «пеленочный детерминизм» уже в 1950-е гг. характеризовал такого сорта обобщения. Отсылки к раннему детству, опыт которого скрыт и от пациента, и, тем более, от врача, должны были объяснять непонятное в поведении взрослого неизвестным⁸.

Уже поэтому отношение многих серьезных историков к психоанализу является критическим — модные идеи хороши для бульварных газет (или даже для раздела Feuilleton в газетах получше), но никак не для исторических исследований. Связано это критическое отношение не только с культурным, а иной раз и политическим консерватизмом многих историков. В качестве примера такого недоверия возьмем статью несомненно «левого» историка Х.-У. Велера — социал-демократа, основоположника «социальной истории» в ФРГ. О его интересе к психоанализу говорит уже то, что он был составителем тома работ американских и французских «психоисториков». Однако, в своей вступительной статье «Отношение исторических наук и психоанализа» он не слишком доброжелательно высказывается о попытках применения психоаналитической техники в исторических исследованиях. Велер обращает внимание на то, что по

⁸ Как отмечал известный британский психоаналитик М. Балинт: «В психоаналитической теории вообще довольно распространена тенденция относить все непонятное к прошлому»; столкнувшись с тем, что гипотеза не получает подтверждения, психоаналитики от нее не отказываются, но ссылаются на ранние фазы развития, находящиеся за пределами возможного клинического опыта. См.: Балинт М. Базисный дефект. М., 2002. С. 83—84.

своей методологии психоанализ во многом сходен с историцизмом. Унаследованная от романтизма теория «индивидуальной тотальности» близка фрейдовской метапсихологии своим атомизмом, вниманием к внутренним переживаниям и конфликтам «великой личности». Он замечает, что «именно этот индивидуализм отделяет ныне психоанализ от исторической науки»⁹, поскольку историки все больше интересуются институтами и структурами, проявляют интерес к хозяйственной и повседневной жизни, тогда как психоанализ если отчасти и пересматривает персонализм XIX в., то в основном остается на уровне внутриспсихических конфликтов индивида. Историка лишь в малой степени интересует раннее детство Гитлера и его (предполагаемые) отклонения от психической нормы — интересно то, что такого рода личность могла добраться до вершин власти и оставаться на них вплоть до мая 1945 г., а связано это не с индивидуальной психологией немцев, но с состоянием общества, политическими и культурными конфликтами Веймарской республики, идеологическими предпочтениями элит и т.п. Точно так же структура личности какого-нибудь бандита, изображающего из себя «бизнесмена» в современной России, может привлечь внимание психотерапевта, но будущего историка заинтересует не то, что иные из этих людей спились или умерли от передозировки героина, а политические и экономические институты времен «экономики переходного периода», позволившие захват целых отраслей хозяйства уголовным сбродом.

От биографического «понимания», будь оно в духе дильтеевской герменевтики или фрейдовского психоанализа, историк переходит к «объяснению» поведения групп, а не взятых в своей обособленности индивидов. Знакомство с психоанализом полезно для историка: как и ряд других мыслителей (Маркс, Ницше, Парето), Фрейд ставит под сомнение те интерпретации, которые люди дают собственному поведению, все формы Wunschen, иллюзорные картины собственного благородства или рациональности. Но для выработки такого скептического взгляда на зрелище человеческой гордыни историку не нужна вся психоаналитическая техника, поскольку «ярмарка тщеславия» и описанные еще Ф. Бэконом «идолы» совсем не обязательно связаны с ранним детством.

Влияние психоанализа на историографию совпадает по времени с растущим воздействием его на социологию и культурную антропологию. Как в

⁹ Wehler H.-U. Zum Verhaeltnis von Geschichtswissenschaft und Psychoanalyse // Geschichte und Psychoanalyse / Hrsg. Von H.-U. Wehler. Koeln: Ullstein, 1971. S. 20.

рамках неотрейдизма, так и в ортодоксальном психоанализе в 1930–40-е гг. происходил переход от той модели, которая господствовала в науках о человеке в XIX в. (и которая была связана не только с наукой, но и с идеологией — индивидуализмом, либерализмом), т.е. от социального атомизма к иной модели, куда более ориентированной на социальные связи, коммуникацию. Если Фрейд подверг критике иллюзорное «Я» картезианства, то отгадки он искал в глубинах психики индивида. Для современной психологии, социальной психологии, социологии субъект существует лишь в социальном поле, а сама идея атомистичного, обособленного «Я» считается изначально ложной. «Я» (self) выступает как символически организованное, но все символы социальные; наше «Я» существует лишь в связях с другими, принимая социальные роли, перспективы. Это в большей или меньшей степени учитывали сторонники «эго-психологии» и британской школы «объектных отношений». В выросшей из «эго-психологии» концепции Э. Эриксона основное внимание уделялось не раннему детству, но более или менее верифицируемому «юношескому кризису». Психоанализ оказал определенное влияние именно на биографический жанр, и если брать лишенные спекуляций по поводу первобытной орды «психоистории» Эриксона¹⁰, это влияние было позитивным — люди прошлого, как и мы, сначала были детьми и подростками, проходившими через «кризисы идентичности», а уж потом становились великими художниками или полководцами.

Несмотря на всю критику «биографической иллюзии» со стороны социологов (от Ф. Симиана до П. Бурдьё), биографический жанр неотделим от исторической науки. Даже представители школы *Анналов* успешно обращались к этому жанру. Достаточно вспомнить о том, что основатель этой школы Л. Февр написал исследования о Лютере, Рабле и Маргарите Наваррской, а недавно вышедшая биография Людовика Святого принадлежит перу Ж. Ле Гоффа. Однако эти биографии отличаются от жизнеописаний, в которых главной целью является постижение индивидуальной судьбы; как отметил Ж. Ревель, «гораздо важнее выяснить, что сделало возможной и мыслимой такую судьбу, такой жизненный путь в том конте-

¹⁰ Поэтому историки чаще всего подразумевают под психоанализом именно «психоисторию» Эриксона. «Когда историк задумывается об исторической психологии, то он имеет в виду психоисторию, и большинство споров, которые вышли из этих раздумий, вращаются вокруг применимости психоисторического метода» Hutton P.H. Die Psychohistorie Erik Eriksons aus der Sicht der Mentalitaetengeschichte // Mentalitaeten-Geschichte / Hrsg. von U. Raulf, K. Wägwenbuch. Vlg. Berlin, 1987. S. 146.

кте, который подлежит воссозданию»¹¹. К «неписанным правилам» прежних биографий Ж. Ревель отнес две предпосылки: 1) жизнь есть непрерывная линия между рождением и смертью; 2) жизненный опыт индивида называется на эту траекторию. Биограф «великого человека» желает показать, какой урок его жизнь представляет потомкам, каково его место в Истории. Для того, кто видит в индивиде не реализацию неких врожденных или благоприобретенных свойств ума и характера, такой непрерывной линии не существует. Имеются точки разрыва, случайности встреч и находок, принятые на себя роли, одним словом, непрерывное взаимодействие индивида с другими людьми, с тем социальным полем, которое он застал при рождении и которое менялось на протяжении его жизни. Следует учитывать и этап формирования этого поля в раннем детстве, и бессознательные мотивы человеческих поступков. Занятие «историей ментальностей» предполагает знакомство с психологией и социальной психологией. Историк в высшей степени полезно знакомиться с медицинскими case studies психотерапевтов уже по той простой причине, что и в прошлом хватало индивидов с теми или иными психическими расстройствами. Но спекулятивные «психобиографии», вроде эссе Фрейда о Леонардо да Винчи¹², рассуждения об Эдиповом комплексе Шекспира (много ли мы о нем знаем?) ему вряд ли понадобятся.

Если в 1950–60-е гг. психоанализ проникал в исторические исследования через такие дисциплины, как социология или этнография (культурная антропология), то в последние два десятилетия это влияние связано не с наукой как таковой, а с околонучными доктринами. Западное научное сообщество терпимо относится к маргиналам, пишущим с заглавной буквы слова Текст и Тело, изредка раздраженно откликается на идеологические писания тех, кто сочиняет социологию или литературоведение, выражающие чаяния того или иного «сексуального меньшинства». В России в силу целого ряда причин эти писания заняли значительно большее место в научных дебатах: в гуманитарных науках отсутствует та «нормальная наука», которая отторгает идеологов и дилетантов, а в условиях социального хаоса и крушения прежней идеологизированной науки писания так называемых «постмодернистов» обрели респектабельность «последнего слова».

¹¹ Ревель Ж. Биография как историографическая проблема. М.: РГГУ, 2002. С. 20.

¹² Востороженно ссылающимся на это эссе историкам, вроде П. Хаттона, следовало бы иметь в виду, что почти всю информацию о жизни Леонардо Фрейд почерпнул из романа Мережковского.

Так называемых, поскольку слово «постмодерн» обладает массой значений, а между Фуко, Деррида, Лиотаром или Бодрийаром никогда не было полного согласия. Вряд ли есть смысл проводить здесь какой бы то ни было анализ этих доктрин — они не имеют прямого отношения к воздействию психоанализа на историографию. Критическое отношение Фуко или Делеза к психоанализу хорошо известно, равно как и к той версии герменевтики, которая испытала влияние Фрейда и его последователей. Тем, кто причисляет тексты по поводу «исторической памяти» к «постмодерну», следовало бы хоть немного знать западную интеллектуальную сцену. То, что статьи и книги Й. Рюзена написаны под прямым влиянием ранних работ Ю. Хабермаса (очевидного оппонента «постмодерна»), не вызывает никаких сомнений у всякого знакомого с немецкой мыслью читателя. Французские историки, начавшие изучение «мест памяти», не принадлежат к «постмодернизму» и практически не ссылаются на Фрейда. Исследование массовых представлений об истории, «устная история», «история настоящего» — все эти важные для историков темы можно обсуждать совершенно независимо от психоанализа. К нему не имеет отношения и предложенная Я. Ассманом теория «культурной памяти», поскольку предмет его исследования было древнеегипетское общество с присущими ему историческими представлениями. Ни о вытеснении в бессознательное, ни о возвращении вытесненного ради его преодоления специалист по традиционным обществам, естественно, не говорит ни единого слова. С психоанализом связана исключительно та концепция «исторической памяти», которая получила распространение даже не столько усилиями Рюзена, сколько в текстах тех, кто пишет о Холокосте и Гулаге. Именно в этих текстах чаще всего встречаются термины «травма», «подавление», «возвращение вытесненного» и т.п.

Сбор свидетельств участников событий со времен Фукидида был основанием историографии. Тому, кто исследует XX столетие, не обойтись без огромного числа свидетельств жертв концлагерей, войн, депортаций, геноцида. Вопрос заключается в том, что делать с этими данными. Историкам они нужны для выяснения того, что на самом деле происходило в прошлом, тогда как собирают эти данные зачастую совсем с иными целями. То, что получило название «политика памяти», имеет весьма отдаленное отношение к науке. Мне доводилось читать и слушать доклады немецких историков по поводу страданий судетских и силезских Getriebene, но целью ученых речей всякий раз оказывались материальные претензии наследников замков и земель к чехам и полякам. Полити-

ческие симпатии таких российских организаций, как «Память» и «Мемориал», привели к тому, что о трагическом опыте нашей страны стали спорить потомки Шарикова и Швондера, можно вспомнить писания армянских и азербайджанских историков о Нагорном Карабахе и тому подобные труды.

Такого рода ангажированность ведет не только к некритичному использованию свидетельств, но даже к откровенной их фальсификации. То, что значительное число историков принимает участие в пропагандистских акциях, отстаивая интересы государств и различных групп, не ново — немецкие или французские историки конца XIX в. делали то же самое. Изменилась только степень манипуляции, поскольку телевидение и Интернет предоставляют невиданные ранее возможности. Представления масс об истории в огромной степени зависят от воли журналистов, направляемых интересами владельцев СМИ¹³. Современное общество является массовым, состоит из миллионов людей, получивших, как минимум, среднее образование, более или менее интересующихся историей. Скажем, во Франции за эту аудиторию ведут борьбу три исторических телеканала и два популярных журнала, любая серьезная газета публикует популярные статьи об истории. Растет число компьютерных игр «в историю» — визуализация ведет к виртуализации. Теоретики «постмодернизма» могут ссылаться на этот опыт миллионов полубразованных подростков: весь мир настоящего и прошлого представляет собой поле виртуальных игр словами и образами. Коммерциализация исторических знаний сочетается с доведенным до крайности «презентизмом» — популярные статьи и фильмы почти всегда указывают нам на связь прошлого и настоящего. Житель мегаполиса должен знать, что его сегодняшнее благосостояние было целью всей предшествующей истории.

¹³ Я не касаюсь здесь того, как те или иные исторические события недавнего прошлого приобретают характер мифов. Приведу слова немецкого публициста, сказанные в связи с выходом на экран фильма о Гитлере: «Так Гитлер постепенно становится персонажем романа, наподобие Наполеона или Александра Великого. Превращение в фикцию неудержимо уже по той причине, что вымирают очевидцы “Третьего Рейха”. Действительно происходившее — с его сочетанием нормального и brutального — сдвигается к историческому мифу, не знающему никаких противоречий. С этим не справится историческая наука. Напротив, полученные в школе и в масс-медиа популяризации создают пространство для любых ассоциаций. Образы, лозунги, даже преступления гитлеровского Рейха сделались набором цитат на всякий случай. Достаточно произнести «шесть миллионов», чтобы вызвать в памяти истребление евреев. Однако сильнейшие эмоции при минимальном количестве знаков ожидают нас в поп-культуре. Гитлер сделался иконой в индустрии развлечений» (Jessen J. Was macht Hitler so unwiderstehlich? Die Zeit. 23.09.2004. N 40).

Концепция «исторической памяти» возникла как отклик на эту «демократизацию» исторических знаний. Историю пишут не столько для коллег по научному цеху, сколько для жаждущих просвещения масс, а потому историк становится хранителем коллективной памяти. Он ведет борьбу с забвением, он вспоминает о том, что забыто массами. Есть те вещи, о которых не следует забывать, дабы они не повторялись. Именно здесь следуют ссылки на психоанализ: массы не просто забывают, они вытесняют из памяти неприятное, а власть предрасполагающая этому способствует — практически все сторонники «исторической памяти» относятся к «левым» и любят изображать из себя наследников Вольтера и Золя. Вытеснение связывается с травмой, нанесенной коллективному опыту. «Те, кто пережил ужасы массовых убийств, репрессий и насильственных депортаций, страдают от коллективной травмы»¹⁴.

Выше уже было указано на то, что выдвинувший идею «исторической памяти» Й. Рюзен просто применяет к исторической науке учение Хабермаса о «познавательных интересах». Строго говоря, учение это было создано М. Шелером, развито Э. Роткером (учителем Хабермаса и К.-О. Апеля, на которого они предпочитали не ссылаться из-за его нацистского прошлого). Для Шелера знание есть отношение части к целому, причем результат познания зависит от поставленной задачи, от перспективы, в которой мы видим действительность. Если познание нацелено на получение материальных результатов, на власть над миром, то оно будет явно отличаться от познания, нацеленного на самосовершенствование. Тем более оно отлично от знания, которое должно принести спасение. Общество, в котором доминирует *Leistungswissen*, пришло сравнительно недавно, сменив те общества, в которых преобладало «знание — спасение» (*Heilswissen*). Хабермас и Апель просто заменили познавательный интерес, направленный на спасение, «эмансипативным интересом», нацеленным на освобождение человечества от пут прошлого. Выдвинутая Хабермасом в полемике сначала с Х. Альбертом (учеником К. Поппера), а затем с Х.-Г. Гадамером классификация наук соответствует трем познавательным интересам. Естественные науки имеют целью покорение природы, тогда как «позитивистские» социальные науки служат не столько познанию, сколько управлению и манипуляции. Классическая герменевтика гуманитарных наук имеет своей целью «понимание», т.е. диалог с людьми прошлого и настоящего. Но в коммуникации всегда имеются разрывы, связанные не только с недостат-

¹⁴ Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М.: Весь мир, 2000. С. 39.

ком информации, но также с насилием, вытеснением из памяти того, что мешает нынешним правящим классам и группам («систематически искажаемая коммуникация»). «Эмансипативный интерес» направляет познание, которое освобождает от такого рода насилия.

Так как Хабермас и Апель писали все это во время студенческих бунтов конца 1960-х — начала 70-х гг., то марксизм у них в духе тогдашней идеологии вольно сочетался с психоанализом. Фрейда, впрочем, укоряли за «сциентистское самонепонимание» — биологизаторство Фрейда и его социальный пессимизм явно не годились для синтеза с «самым прогрессивным учением». Предложенную в то время А. Лоренцером концепцию «глубинной герменевтики» приспособили к неомарксизму Франкфуртской школы. Человечество нужно рассматривать как целое в его развитии «все дальше и дальше»; этому развитию препятствуют привилегированные классы и группы, которые необходимо свергнуть, а внутреннюю свободу участник этой всемирно-исторической драмы может получить с помощью психоанализа. Прошлое владеет нами из-за того, что мы несвободны, и наоборот, мы несвободны из-за господства предрассудков, клише, иллюзий. Слова Фрейда: «Где было Оно, там должно стать Я», вполне правомерно сопоставлять с воззрениями просветителей — познание истины освобождает. Но для неомарксистов Просвещение всегда было чем-то по меньшей мере подозрительным (вспомним «Диалектику Просвещения» основателей Франкфуртской школы). Тот, кто совершил внутреннюю революцию и отсекся от всех несущих угнетение традиций, способен довести до конца и политико-культурную революцию. Применительно к историческим исследованиям это означало решительный разрыв с любым прошлым, кроме одной его части — у революций также имеются предшественники.

Я не стану приводить здесь аргументы Гадамера и других оппонентов этой доктрины. Ясно то, что применительно к истории она означает уничтожение любой научности во имя «эмансипации» тех групп, которые чем-то недовольны в нынешнем мире. Прошлое в таком случае ставится в зависимость от чаяемого будущего. Представлять интересы человеческого рода и прогресса — политически удобная позиция (по крайней мере, для ни за что не отвечающих интеллектуалов), но она вряд ли пригодна для ученого. В лучшем случае, история тогда возвращается к роли «учительницы жизни», читающей мораль подрастающему поколению, в худшем — служит орудием пропаганды. «Левые» занимаются этим ничуть не меньше «правых», но чаще последних желают представлять себя носителями уни-

версальной этики, разума и человечности¹⁵. Жанр политической истории вообще можно определить так: победители судят побежденных. Преступления одних тогда шумно обсуждаются, исследователи получают гранты, их приглашают выступать в СМИ; преступления других, идеологически близких, замалчиваются. В качестве примера приведу гигантское количество книг и статей, написанных о нацистском прошлом Хайдеггера и Шмитта, и полное молчание по поводу того, что Г. Лукач, будучи комиссаром, лично подписывал приказы о расстрелах «контрреволюционеров», что Т. Адорно в 1933 г. написал письмо в ведомство Геббельса с предложением плодотворного сотрудничества. Двойные стандарты из мира сегодняшней политики переносятся на прошлое.

Необходимо учитывать тот контекст, в котором возникла концепция «исторической памяти» — он является типичным продуктом немецкой политической и интеллектуальной жизни. В Германии времен Аденауэра многие страницы истории замалчивались, можно даже сказать «вытеснялись» из сознания немцев. Бунт детей против отцов включал в себя и разоблачение официальной историографии, «возвращение вытесненного». В условиях, когда часть правых историков перешла в стан «ревизионистов», прямо отвергающих существование газовых камер, а другие, вслед за Э. Нольте, призвали историков заниматься своим делом, а не служить медиумами «живой памяти», их левые оппоненты стали пересматривать сами задачи исторической науки. В результате возникла поразительно эклектичная доктрина, включающая в себя обрывки социальной философии Франкфуртской школы, работ французских историков, пишущих о «местах памяти», психоанализа, американского «нового историцизма» and what not.

Вряд ли есть необходимость повторять уже сказанное другими критиками этого концепта (в частности, И. Савельевой), что все содержание его

¹⁵ Правда, именно здесь их подводит риторика «постмодерна», ликвидирующая и универсальную этику, и научную рациональность. Кстати, добившись хоть какой-то политической власти, леволиберальные гуманитарии вводят нештучную цензуру. Множество примеров того, как это делается в США, приводится в книге: П.Дж. Бьюкенен. «Смерть Запада». (М.; СПб., 2003). Мне почему-то запомнилось прочитанное в газете об изъятии из школьных библиотек в одном из американских штатов «Властелина колец» Толкиена. Отвечавшая за образование в этом штате дама обосновывала это по всем правилам «политкорректности»: книга полна сексизма, поскольку основные действующие лица принадлежат к мужскому полу, и нет ни одного героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией, что их явным образом дискриминирует; книга является расистской, поскольку одна из рас Средиземья (а именно, гоблины) наделена исключительно недостатками; наконец, она просто реакционна, так как четко разделяет «черное» и «белое» в морали, «друзей» и «врагов» в политике, да еще в ней идеальным строем признается монархия.

исчерпывается привычным выражением «исторические представления». То, что в обыденном сознании имеются такого рода представления о прошлом, что они передаются из поколения в поколение помимо учебников и монографий, что в дописьменных культурах эти представления иначе структурированы, чем сегодня, что историческая наука с момента своего возникновения связана с интересами правящих групп и классов, и тому подобные тезисы просто банальны. Не банальной в этой концепции можно считать только теорию «травмированной коллективной памяти», но именно она является, на мой взгляд, явно ложной.

Прежде всего, следует задать вопрос о том, что вообще считать «коллективной памятью». Мы вольны рассуждать о «памяти народов», но вряд ли кто-либо из историков станет всерьез обсуждать ламаркистскую гипотезу о наследовании благоприобретенных признаков и связанные с нею психоаналитические доктрины Фрейда или Юнга. Еще меньшей популярностью пользуются романтические теории Volkgeist — тогда возможны и спекуляции по поводу «расовой души». Существует множество психологических теорий памяти с запутанными классификациями: эпизодическая память отличается от семантической, аффективная от моторной, образная от вербальной, событийная от фактологической, долговременная от оперативной, кинестетическая от рефлексорной и т.д. Все эти классификации более или менее осмысленны, но ни одна из теорий ничего не говорит о «коллективной памяти» немцев, евреев или американцев. Чтобы имелся коллективный травматический опыт, требуется коллективная психика (чтобы получить рагу из зайца, нужен заяц), а это вступает в противоречие со всем тем, что говорят сегодняшние науки о человеке.

Разумеется, сходный опыт множества людей оставляет примерно одинаковый «след» (в том числе и условно именуемый нами «травматическим» — скажем, опыт войны 1914—1918 гг. у фронтовиков, часть которых стала называть себя «потерянным поколением»), но речь идет не о коллективной душе. Опыт может быть тем же самым, но осмысление этого опыта, интеграция его в те или иные объяснительные схемы может происходить по-разному. Бывшие «товарищи по оружию» в Веймарской Германии входили в вооруженные формирования различных партий — от коммунистов до нацистов, они были схожи лишь в том отношении, что военный опыт оказался применимым в условиях гражданской войны (которая de facto шла в Германии в 1919—1923 гг.). Вряд ли можно считать «травмированными войной» тех, кто зачитывался «Стальными грозами» Э. Юнгера, но и те, кто предпочитал читать «На западном фронте без перемен», не от-

носятся к «травмированным» — радикальный пацифизм является осмысленной позицией, а не разновидностью заболевания. То же самое можно сказать об опыте гитлеровских и сталинских лагерей, коллективизации, колониализма и т.п. Можно говорить о психических травмах индивидов, тех людей, которые были сломлены, которые вытесняли болезненный для них опыт. Когда эти человеческие страдания используются в политических целях (или для получения гранта), встает вопрос даже не о научной квалификации, а о совести историка.

Со времен младшего современника Фрейда, английского психолога Ф.Ч. Барлетта, существует понятие «социальной памяти», которое, однако, не имеет ничего общего с сегодняшними изысканиями на тему «исторической памяти». Связано это с тем, что любой академический психолог занят научным трудом, а не сочинением модных доктрин. Естественно, он признает влияние общества на формирование памяти индивида — в случае вербальной памяти это очевидно. Но и зрительная, и даже моторная память зависят от социализации в том или ином обществе. Так, в первобытном обществе зрительная память развита значительно сильнее, чем в обществе со всеобщим средним образованием, в котором сильнее развитой оказывается вербальная и абстрактная память. В разных группах имеются свои шаблоны мышления и переживания, а тем самым и манеры воспоминания. Не только материал воспоминаний, но и их форма зависят от групповых интересов, ценностей, от социального контроля группы над индивидом. Если не темперамент, то характер человека также социально обусловлен, а потому индивидуальная манера вспоминать имеет сходство с тем, как это делают представители того же общества (класса, группы), но отличаться от других обществ и групп. Если группа обладает высокой степенью сплоченности, четкой идентичностью, то структурирование воспоминаний у представителя группы будет отличаться от воспоминания «аутсайдера» или «маргинала». Но из этого совсем не следует наличие некоего «объективного духа», «наследственной памяти», которая отличала бы немца от француза (или осетина от чеченца), джентльмена от ремесленника и т.д. У группы могут быть свои «места памяти» — монументы, гимны, памятные даты, юбилеи основоположников и т.п., но всякий раз речь должна идти не о «коллективной памяти», а о средствах воздействия одних людей на других, о традиции в своем первоначальном значении «передачи» опыта, знаний и навыков. Память же в любом случае имеется только у индивидов. Изобретенные его предками знаковые системы (прежде всего письменность, но также самые разнообразные

«языки» живописи, музыки, танца) формируют память индивида и заполняют ее образами и смыслами¹⁶. Индивид взаимодействует с другими и вне такого взаимодействия просто не существует как человек. Но помнит он и только он, а «коллективная память» есть совокупность воспоминаний у индивидов.

Если уж сопоставлять исторический рассказ с памятью, то следовало бы ставить на первое место не спонтанную репродукцию, но усилие припоминания, когда субъект активно пытается вспомнить им забытое, восстановить во всей полноте то, что осталось лишь в виде слабого следа. Фрейд писал о «сопротивлении» бессознательного такого рода припоминанию, которое, действительно, иногда встречается и по ходу психотерапии, и в повседневной жизни. Но сегодняшние теории памяти связывают забывание не столько с вытеснением, сколько с «затуханием» (спонтанное угасание следа) и «интерференцией» (вмешательство других следов, их «конкуренция», утрата «ключа» к кодированной информации).

Совершенно непонятно, как можно травмировать «коллективную память», если употреблять термины «память» и «травма» не в качестве ни к чему не обязывающих метафор. Термин «травма» обладает точным значением в той области медицины, которая имеет дело с переломами, ранениями и другими механическими повреждениями организма. Когда мы говорим о «психической травме», то подобная точность уже исчезает. Разумеется, сотрясение мозга или болевой шок вызывают душевные страдания и могут сказываться на высших психических функциях; многие ветераны войны, бывшие узники лагерей или заложники террористов, жертвы сексуального насилия испытывают в дальнейшем разного рода страдания и трудности. Но уже здесь мы неизбежно сталкиваемся с вопросом о причинах и следствиях: среди ветеранов войны или пережив-

¹⁶ Человек является «общественным животным», и память всегда связана с целями, интересами, табу, привычками и т.п. Мы вспоминаем о прошлом под влиянием окружающей действительности, укладываем наши воспоминания в схемы, пользуемся стереотипами, смешиваем наши собственные впечатления с тем, что мы слышали или читали. Любопытное исследование было проведено в 80-е гг. немецким историком Л. Нитхаммером: опросы бывших солдат и офицеров времен Второй мировой войны из ФРГ и ГДР, которые сражались на Восточном фронте или побывали в советском плену, показали, что сходный опыт увязывался с различными рационализациями, возникшими в результате послевоенной жизни, пропаганды времен «холодной войны» и т.п. См. Niethammer L. Juden und Russen im Gedächtnis der Deutschen // Der historische Ort des Nationalsozialismus. Frankfurt a. M.: Fischer, 1990. Если сегодня провести опрос российских граждан о прошлом 20-летней давности, то обнаружится, что воспоминания в огромной степени зависят от сегодняшнего положения в обществе.

ших опыт концлагеря людей не так уж много тех, у кого возникли невротические симптомы. В то же самое время есть индивиды, психика которых не выдерживает при столкновении с незначительным конфликтом в семье или на работе. Именно поэтому Фрейд отказался от травматической теории неврозов, вернее, стал придавать основное значение не недавнему болезненному событию, а тем конфликтам, которые происходили в раннем детстве.

Конечно, именно Фрейд, начиная с написанных вместе с Брейером «Исследований истерии», не раз повторял: «истерические пациенты страдают в основном от воспоминаний», утверждал, что невротические симптомы являются остатками и мнемическими символами травматического опыта (как он говорил в лекциях, прочитанных в США в 1909 г.). Фрейд писал о том, что истерия и меланхолия часто выступают как следствия патологического траура, вызванного недавней тяжелой утратой. Этот тезис понятен каждому человеку, терявшему близких людей. Вопрос заключается лишь в том, что у подавляющего большинства из них траур не вызывает невротических симптомов, хотя «травмирует» он всех. «Окопный невроз» развивался далеко не у всех фронтовиков Первой мировой войны; сексуальная неудовлетворенность, конфликты на работе не служат «спусковым крючком» к неврозу у подавляющего большинства людей — попытки иных последователей сводить все неврозы к сексуальной неудовлетворенности Фрейд называл «диким психоанализом». Иными словами, он не придерживался той точки зрения, что причиной невроза выступает травма от внешнего воздействия. Даже в начальный период психоанализа он указывал на то, что такое воздействие на взрослого вызывает невроз потому, что ущербной является психическая конституция многих людей, а она связана с опытом раннего детства. От примитивной теории «травмы» в раннем детстве (сексуальное насилие над малолетними) он довольно быстро избавился еще в 90-е гг. XIX в., хотя яростно отстаивал эту гипотезу в начальный период своей психотерапевтической деятельности.

Фрейд принадлежал своему времени, когда к образу «травмы», которая может передаваться по наследству, прибегали уважаемые представители научного сообщества, включая и выдающихся историков: кто станет сегодня упрекать Э. Ренана за пассажи о «расовой душе», если о «расах» любили рассуждать и создатель социальной психологии Ле Бон, и демократ Мишле, и социалист Жорес? Кстати, Ренан за столетие до сегодняшних историков объяснял многие исторические события «травматическим

опытом», включая и возникновение христианской церкви¹⁷. В письмах Фрейда мы найдем спекуляции о «расовой душе» евреев в ее отличии от «арийцев», русский национальный характер он характеризовал как «детский», с недоразвитым «Сверх-Я» («Достоевский и отцеубийство»). Следует ли нам заимствовать у Фрейда и такого рода идеи?

Позаимствованное у Шарко и у Жана понятие «травмы» часто употреблялось Фрейдом только в первых своих работах — в дальнейшем он прибегал к нему сравнительно редко. Сегодня к нему вернулись те психоаналитики, которые ищут славы и почестей в сообществе феминисток: неврозы вновь делаются следствием насилия отцов и братьев над малолетними, а взрослых женщин такого сорта терапевты учат «вспоминать» о том, чего не было (психологи называют такую ложную память «конфабуляцией»). В среднем классе, к которому принадлежат пациентки аналитиков, развратные действия и сексуальное насилие над детьми крайне редки, тогда как неврозов предостаточно; но представительниц этого класса, в отличие от выходцев из низших слоев, довольно легко убедить в том, что все их проблемы связаны с «дурными» родителями. В США уже были случаи, когда прошедшие курс такого сорта «воспоминаний» на кушетке у психоаналитиков подавали в суд на своих отцов, что, естественно, не вело к наказанию этих отцов (все доказательства сводились к голословным утверждениям), но к распаду семейных связей — и росту числа крайних феминисток, готовых повсюду находить угнетение и насилие. Такого сорта политическая индоктринация, конечно, очень удобна, она напоминает сходные поиски классовых или расовых врагов. Правда, встречаются еще более курьезные случаи злоупотребления психотерапией: в США имеется небольшая ассоциация психоаналитиков, верящих в «зеленых человечков» с НЛО; соответственно, пациенты у них «вспоминают» о том, как их похищали, обследовали и вступали с ними в сексуальные контакты. Место инкубов и суккубов средневековья заняли инопланетяне. Нельзя винить Фрейда за то, что пишут такого сорта последователи, но и историки, ссылающиеся на него в связи с «травмой коллективной памяти», берут у Фрейда то, что не следовало бы заимствовать, скажем, изложенную в кни-

¹⁷ «Всякое впечатление, заходящее за известный предел интенсивности, оставляет в *чувствительности* субъекта след, который равносителен повреждению, и надолго, если не навсегда, подчиняет его влиянию галлюцинации или навязчивой идее *fixe*. Кровавый эпизод августа 64 года по ужасу своему можно уподобить самым страшным грезам, которые только могут создаваться в сознании большого мозга. В течение многих лет им будет как бы одержимо христианское сознание» (Ренан Э. Антихрист. Л.: Советский писатель, 1991. С. 90).

ге «Моисей и единобожие» гипотезу о происхождении монотеизма, пред-полагающую то, что недовольные скрижалями евреи убили пророка¹⁸.

Еще меньше оснований ссылаться на Фрейда в связи с тем, как понимается роль историка в «возвращении вытесненного». Для психотерапевта речь идет о чрезвычайно важном для формирования индивида опыте раннего детства, тогда как вытеснение во взрослой жизни не играет для него столь значительной роли. Психоаналитик возвращает индивида к детским переживаниям, чтобы был испытан «катарсис» — избавление от невротических симптомов происходит вместе с такого рода воспоминанием. Рассказ историка о прошлом в лучшем случае может нас просветить, в худшем он служит индоктринации, но ждать от него радикального изменения человека, чуть ли не преобразования в свете исторической истины, могут либо наивные, либо небескорыстные лица. Тот, кто всерьез утверждает, что «коллективная психика» того или иного народа может быть «травмирована» неким опытом, а историк выступает как своего рода психотерапевт, позволяющий вытесненным содержаниям вернуться в сознание, а тем самым и преодолеть «болезнь», может быть охарактеризован или как впавший в мегаломанию, или просто как шарлатан.

Как и любая другая сомнительная, но привлекающая внимание СМИ теория, доктрина «травмированной памяти» тут же привлекла огромное число дилетантов. Число научно-популярных публикаций по этому поводу в Германии огромно, поскольку в разделе Feuilleton любая газета готова поместить бойко написанную статью по теме, которая считается и «политически корректной» (Холокост, Гулаг!), и «новым словом» науки. В качестве свежего примера сошлюсь на подобную статью в только что полученном мною журнале *Humboldt Kosmos*, рассылаемом всем бывшим стипендиатам фонда им. А. Гумбольдта. В нем профессор англистики Алейда Ассман представляет доктрину «исторической памяти» как последнее слово междисциплинарных исследований в Германии¹⁹. Сославшись, как положено, на Хальбвакса и Фрейда, она не говорит ни слова о том, что подав-

¹⁸ Я вторично упоминаю эту «гипотезу», поскольку большинство публикаций сторонников «исторической памяти» включает почтительную ссылку на эту последнюю книгу Фрейда, но без изложения сути дела, поскольку ни вменяемым историкам, ни верующим иудеям эта версия не кажется заслуживающей доверия. Если любое слово Фрейда по поводу истории ценно, то почему бы не вспомнить его замечательную трактовку того, как первобытный человек осуществлял «покорение огня», или генетическое выведение ткачества из женской мастурбации? Должны ли мы вслед за Фрейдом считать, что все пьесы Шекспира написаны Ф. Бэконом?

¹⁹ Assmann A. Das Gedaechtnis — Bruecke zwischen den Wissenschaften // *Humboldt Kosmos*. Juli 2004. N 3. SS. 9—13.

ляющее большинство психологов не принимает фрейдовскую теорию забывания в результате вытеснения, что сами психоаналитики избегают отсылки к «памяти рода», что передача «травматического опыта» по наследству вообще отвергается научным сообществом. Для этой дамы наличие одной статьи американского психоаналитика о травме в словаре по психиатрии 1980-х гг. свидетельствует о том, что такое видение травмы свойственно всем психиатрам. Затем она без тени сомнения утверждает: «В случае коллективной исторической травмы Холокоста наследование столь же очевидно... К передаче исторической травмы относится и то, что она бессознательно наследуется одним поколением от другого»²⁰. При этом сама травма понимается даже не в духе Фрейда, а таких его предшественников как Шарко и Жане — при сильном внешнем воздействии психика «раскалывается», часть ее «отщепляется» и хранится в «бессознательном» (которое такими учеными дамами мыслится, видимо, как некий погреб). Если же такой индивид начнет делиться крайне болезненным для него опытом, то произойдет «возвращение вытесненного» и всем станет хорошо — и исцеленному индивиду, и его потомкам, которые уже не станут наследовать «травму», и историкам, которые займут достойное место в Öffentlichkeit. Приятным во всех отношениях дамам становится легче от обсуждения своих проблем с подругой — эту «модель» так легко и удобно распространять на ближних и дальних. То, что лечение пациентов, испытавших шок от пребывания в заложниках у террористов, сексуального насилия, опыта бомбежки в раннем детстве и т.п., куда более трудоемко, вряд ли когда-нибудь дойдет до сознания таких «междисциплинарных исследователей». Кстати, проблемой для бывших узников концлагерей было вовсе не то, что у них «откололась» часть психики и они не могли найти слов для выражения пережитого — это опять-таки версия литературоведов, считающих самым главным в жизни человека способность к словотворчеству.

Уже во времена Первой мировой войны психоаналитики столкнулись с «окопным неврозом», который никак не вменялся в схему «вытеснения — возвращения вытесненного». Травматический опыт как раз не забывался, к нему индивид навязчиво возвращался в условиях мирной жизни, он мешал

²⁰ Ibid. S. 13. Разумеется, не все сторонники теории «исторической памяти» столь наивны или невежественны. Я сошлюсь хотя бы на вполне разумную книгу М. Рота, в которой проводится критический анализ тех «злоупотреблений прошлым», которые сопутствуют применению психоанализа в исторических исследованиях. См.: Roth M. Freud's Use and Abuse of the Past // Roth M. The Ironist's Cage. Memory, Trauma and the Construction of History. N.Y.: Columbia University Press., 1995.

жить. От того, что бывший узник лагеря или заложник начнет давать интервью корреспондентам, он не избавится от пережитого. Но еще хуже то, что психиатрический ярлык наклеивается на всех тех, кто прошел через опыт войн, лагерей, бомбежек и депортаций в XX столетии (теперь к ним добавляются жертвы «гуманитарных интервенций»). Тогда старшее поколение европейцев состоит в основном из невротиков — гипотеза оригинальная, но маловероятная. Тогда и большинство сидевших в тюрьме по уголовным статьям нужно «лечить» и «возвращать вытесненное», а каждого отслужившего в армии с ее «дедовщиной» считать потенциальным пациентом. Все человечество с его не внушающей оптимизма историей войн, пыток и казней в таком случае «больно» и требует «целителей», убежденных в том, что сентиментальные речи по поводу прошлого наделены чудодейственной терапевтической силой.

Доктрина «исторической памяти» оказалась чрезвычайно удобной для целого ряда меньшинств, которые добиваются компенсаций за то, что страдали их прадеды. Если негры были рабами, а ирландцы бежали в США от голода, то их потомки «страдают» от переданной по наследству «травмы». Публично напомнить о своих страданиях — хороший способ получить те или иные привилегии или даже добиться выплат, а потому между американскими этническими общинами ведется оживленный диалог на тему: «Кто более пострадал по ходу совместной истории?» На пространствах бывшего СССР уже нашлись историки, участвующие в пропагандистских акциях своих парламентов и правительств — достаточно вспомнить притязания эстонских законодателей на миллиарды долларов и Новосибирскую область, все писания украинских политиков и историков о «двух Голодоморах», организованных, разумеется, «москалями» и т.п. Вероятно, найдутся и российские историки подобного сорта, которые выставят счет за 70 лет большевизма латышским стрелкам, «жидомасонам» или еще кому-нибудь.

Подозреваю, что у доктрины «исторической памяти» на этих пространствах большое будущее — она чрезвычайно удобна не только для мило болтающих междисциплинарных дам и малограмотных журналистов, но и для националистических политиканов. Она сподручна и тем заполнившим эфир лицам, которые выводят «антов» от «атлантов», а «русских» от «этрусков», ищут Шамбалу и занимаются столь же перспективными направлениями исторических изысканий — ведь в «коллективной памяти» очень легко отыскать любые «вытесненные в бессознательное» следы прошлого. Диссертации со словосочетаниями, вроде «архетипы коллек-

тивной ментальности по материалам эпоса XYZ», уже в изобилии защищаются в ученых советах по всему СНГ. Проще всего объяснять все проблемы того или иного народа «веками угнетения», оставившими неизгладимую «травму», преодолением которой занимаются историки, сменившие научный коммунизм на наукообразный национализм.

Все речи о «коллективной травме», «коллективном вытеснении» и т.п. просто никак не связаны с психологией и психиатрией — на Фрейда ссылаются как на авторитетную в другой области знаний фигуру, чтобы подкрепить дилетантские рассуждения²¹. Подавление любого свободомыслия, конечно, можно назвать «вытеснением», а политическую цензуру сравнивать с суровостью одной из психических инстанций («Сверх-Я»), но все это — просто удобные метафоры. Вряд ли отечественные гуманитарии, пережившие «травматический» опыт цензуры и партийных проработок, считают себя «больными», которым следует обратиться к психотерапевту. Психоаналитический жаргон употребляется там, где следовало бы говорить о властных отношениях, об идеологии, индоктринации и манипуляции. Понятно, что в СССР мало говорилось о чудовищном опыте коллективизации, «чисток», лагерей и т.п. Но и в странах, где не было цензуры и политической полиции, ряд тем находился под фактическим запретом. Пока жили и занимали свои посты лица, входившие в администрацию Виши во Франции, трудно было ожидать того, что историки начнут копаться в деталях того, что творилось во времена оккупации; в США темы, вроде бессудного интернирования всех лиц японского происхождения, долгое время не считались уместными для публичного обсуждения; в ФРГ после войны две трети правящей партии составляли бывшие члены НСДАП, включая и тех, кто разрабатывал и осуществлял «новый порядок». Известно, что из тех лиц, которые принимали участие в разработке и осуществлении плана «окончательного решения еврейского вопроса» (равно как и «плана Ост») после войны были осуждены лишь единицы, принадлежавшие верхушке СС и НСДАП, тогда как участвовавшие в этих мероприятиях представители индустрии, транспорта, дипломатии и прочих немецких элит сделали в ФРГ времен Аденауэра блестящую карьеру. У элит быстро выработалась способность произносить

²¹ Ссылки эти свидетельствуют и о крайне ограниченном знании в области психологии. В самом начале недавно переведенной у нас книги П. Хаттона можно прочесть такой шедевр: «Как заметил Зигмунд Фрейд, память становится менее эффективной с возрастом» (Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. СПб.: Владимир Даль, 2003. С. 6). Неужели Фрейд был первым, кто заметил такую зависимость?

выученные у американцев слова о демократии, поминать моральные заповеди христианства. К концу 1940-х гг. относится характерная шутка: «Когда я слышу человека, проникновенно произносящего: «Я *почитаю* Альберта Швейцера», ясно, что перед вами субъект, занимавший серьезный пост в партии или группенфюрер СС». Вместо того, чтобы сочинять тексты о «возвращении вытесненного» или «коллективной вине», иным немецким историкам следовало бы заняться правдивым рассказом о том, как сказывался на исторической науке политический «заказ» в недавнем прошлом (не забывая и о том, каков он сегодня).

Ответственность историка связана с ясным пониманием того, что при современных средствах манипуляции общественным мнением память любой группы можно изменить за одно поколение. Один из персонажей Милана Кундеры говорит: «Первый шаг в ликвидации народа — это стирание памяти. Уничтожьте его книги, его культуру, его историю. Потом попросите кого-нибудь написать новые книги, сфабриковать новую культуру, изобрести новую историю. Вскоре народ начнет забывать, кто он и кем он был». Нам это хорошо знакомо и по недавнему прошлому (Герцену принадлежит прилагательное «неудобозабываемое»), и по настоящему. Концепция «исторической памяти» была выдвинута теми, кто 30 лет назад пытался преодолеть завесу молчания относительно происходившего во времена гитлеризма — это чуть ли не единственное ее достоинство. Однако она может послужить (вернее, уже служит) идеологическому переписыванию истории.

Психоанализ на протяжении всего XX столетия был и остается одной из наиболее плодотворных психологических теорий. Он сильно изменился со времен Фрейда: ученики давно избавились от поспешных обобщений учителя, от тех идей, которые принадлежали совсем другой эпохе (вроде ламаркизма или гидравлической модели психики). К сожалению, историки берут из психоанализа то, что не представляет ни малейшей ценности, не сопоставляя эти спорные гипотезы с тем, что пишут психологи других школ. Психоаналитики лечат людей, историки пишут тексты. Любой психотерапевт скажет, что больному ничуть не поможет правдивый рассказ его биографа (он может даже повредить пациенту), рационально мыслящий историк не изображает из себя пророка, не готовит «эмансипацию» человечества и не считает свои писания чем-то большим, чем они суть.

Занятый исключительно прошлым «как оно действительно было» историк, конечно, сталкивается с вопросом: «Зачем тогда вообще нужна история в столь несовершенном мире, полном человеческой нужды?» Но тот

же самый вопрос можно задать ученым, занимающимся космологией или поведением какого-нибудь несъедобного животного. Знания о пирах Лукулла никого не насытят, сведения о греческих тиранах или византийских императорах не помогут сегодняшнему властолюбцу. Вопреки тем, кто увязывает познавательный интерес то с властью, то с эмансипацией, наука начинается с удивления. Вероятно, существуют индивиды, которых чтение трудов Тита Ливия или Карамзина исцелит от невроза, равно как и те, кто сделается невротиком от прохождения курса истории. Но все же не следует путать два ремесла. При всем почтении к психоанализу, подавляющее большинство «психобиографий» написано людьми, которые не имеют представления о методах исторической науки. Изображающие из себя «целителей» историки выглядят еще смешнее в глазах психотерапевтов, занятых лечением страдающих людей, а не трескотней в talk-shows и идейным обеспечением политических интересов.

ПРЕПРИНТЫ ИГИТИ ГУ ВШЭ

Серия WP6 «Гуманитарные исследования ИГИТИ»

1. Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. Препринт WP6/2003/01. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

2. Дубин Б.В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. Препринт WP6/2003/02. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

3. Руткевич А.М. Психоаналитическое учение о символе и интерпретации. Препринт WP6/2003/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

4. Андреев М.Л. Второе рождение нормативной поэтики. Препринт WP6/2003/04. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

5. Самутина Н.В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). Препринт WP6/2003/05. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

6. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

7. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003.

8. Никс Н.Н. «Велик и благороден труд профессора» (Жизнь и деятельность московской профессуры второй половины XIX — начала XXвв.). Препринт WP6/2004/01. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

9. Юревич А.В. Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту. Препринт WP6/2004/02. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

10. Андреев М.Л. Формы прошлого в классической европейской литературе. Препринт WP6/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

11. Фрумкина Р.М. Психолингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

12. Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

Препринт WP6/2004/06
Серия WP6
Гуманитарные исследования ИГИТИ

Редактор серии *И.М. Савельева*

Руткевич Алексей Михайлович

Психоанализ и доктрина «исторической памяти»

Публикуется в авторской редакции

Зав. редакцией *Е.В. Попова*
Корректор *А.В. Заиченко*
Технический редактор *Е.В. Попова*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 2,06. Усл. печ. л. 2,09. Заказ № 244. Изд. № 455.

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3